

АЛЕКС



Роман Ver

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Олли Ver

Апекс

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39745732
SelfPub; 2018*

Аннотация

Люди думали, что этот день станет знаковым. Говорили – этот день войдет в историю. Действительно, день, когда Апекс поступил на розничный рынок и начал продаваться так же массово, как мобильные, обещал стать событием века, а возможно, и тысячелетия. День, когда люди смогли купить билет в прошлое, должен был запомниться навсегда. Но те, кто остался в живых, дату первой продажи прибора не помнят. В оформлении обложки использована иллюстрация автора. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	38
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Люди думали, что этот день станет знаковым. Люди говорили – этот день войдет в историю. Действительно, день, когда Апекс поступил на розничный рынок и начал продаваться так же массово, как мобильные, обещал стать событием века, а, возможно, и тысячелетия. День, когда люди смогли купить билет в прошлое, должен был запомниться навсегда.

Но те, кто остался в живых, дату первой продажи прибора не помнят – они помнят, как 17 мая 2102 года Апекс погрузил мир во мрак.

Глава 1

– Ах ты, сука... – хриплю я.

Красный все сильнее сдавливает мне горло. Еще немного – и я вырублюсь, вот тогда точно – поминай, как звали. Обезруками я упираюсь в горло мерзкой твари, чувствуя, как перекачивается под её кожей что-то мерзкое, вязкое, склизкое – что-то, что наполняет эту тварь, что делает её живой, скользит под моими пальцами густыми, тошнотворно-мягкими комками. Вот дерьмо! По нутру пробегает судорога, зубы сжимаются. Я смотрю в лицо Красному и морщусь от отвращения – вблизи эти сволочи еще омерзительнее. Если издали они до дрожи напоминают человека без кожи и костей, то в паре сантиметров от моего лица, это – отвратная субстанция из красно-коричневой жижи под прозрачной розовой пленкой-кожей вообще ни на что не похожа – просто огромная куча бурого желе. Живого желе. Круглая, как яйцо, голова Красного выдается вперед, приближается, пытается дотянуться до меня, а в следующее мгновение её передняя часть начинает трансформироваться, и там, где секунду назад ничего не было (у Красного нет лица, то есть – совсем нет), начинают вырисовываться до боли знакомые контуры – красно-коричневое месиво под розовой пленкой рисует на голове впадины и изгибы и изогнутые линии, которые складываются в тонкий нос, узкую полоску губ, худое, овальное

лицо и большие глаза. Я взрываюсь – кричу, выворачиваю шею. Сердце, которое начало сбавлять темп из-за нехватки кислорода, подскочило и понеслось, как пришпоренное.

Перед смертью они примеряют лицо того, кого собираются убить.

Я смотрю в «лицо» красной мерзости и вижу себя – меня вот-вот сожрет моя же голова! Рот Красного раскрывается, являя мне мерзкую, блестящую пещеру красной глотки, глубокую до черноты – там сверкают лезвия циркулярных пил. Сука! Дергаюсь, вскрикиваю и изо всех сил пинаю Красного в живот. Тварь на сотую долю секунды отвлекается на свое тело – оно растягивается, как жевательная резинка, отбрасывая среднюю часть туловища на добрый метр, но оставляя конечности на прежнем месте, заставляя их неестественно растягиваться. Отдергиваю от его горла правую руку и хватаюсь за Апекс, мысленно рисую картинку нашей «норы» – Апекс так работает – чтобы возвращаться в исходную точку, нужно видеть её. Жму кнопку...

Раскрытая пасть Красного пронзительно визжит мне в лицо. Но теперь-то мне плевать – реальность крошится, рассыпаясь в прах, и крошечные кубики материи, похожие на пиксели, теряя твердь, осыпаются ворохом атомов и разворачиваются вспять, превращая будущее в прошлое.

Тихий характерный щелчок – сработала пружина Апекса, возвращая кнопку на приборе в исходное положение «вы-

кл». Прыжок завершен. Я вернулась туда, куда должна была – высокий потолок, квадратные колонны через равные промежутки, голые бетонные стены и такой же пол, скудное освещение, которое выхватывает лишь крохотные островки огромного помещения. Твою мать... Сгибаюсь пополам, упираюсь руками в колени и судорожно хватаю ртом воздух. А коленки-то трясутся! Черт бы побрал, этих Красных! Злобно скалю зубы, дышу, как хреновый марафонец и уговариваю себя, что могло быть и хуже. Могло быть гораздо...

– Сожрали тебя, да? – тихий смех из темноты.

Дергаюсь, разгибаюсь и резко отшатываюсь назад – гребаная нервная система совершенно ни к черту! И лишь мгновением позже мозг распознает голос и дает команду сжато-му в пружину телу – отбой! И тут же тело начинает трястись мелкой дрожью. Сука, прекрати! Прекрати немедленно! Дотрясешься – свои же сожрут.

– Дата? – рявкаю я с перепуга.

– Семнадцать, девять, два, – отвечает темный угол удивленно. На этот вопрос по-прежнему отвечают без промедлений, даже при условии, что он уже давно потерял всякий смысл. И лишь мгновением позже в голосе появляется хорошо знакомая надменная лень и совершенно отчетливая издёвка:

– А ты на что рассчитывала? – неторопливые шаги рисуют силуэт на фоне непроглядной темноты. Он вышагивает

вразвалочку, медленно перенося вес тела сначала на левую ногу, затем – на правую и снова на левую, едва ли не походкой «от бедра». Исключительно наглый тип. Стискаваю зубы. Но очень быстрый, поэтому я натягиваю на лицо гримасу доброжелательности и пытаюсь изобразить равнодушие, несмотря на то, что своим идиотским вопросом лично расписалась в своей панике секунду назад:

– Не знаю. Ты давно здесь?

– Трое суток... – отвечает он, поравнявшись со мной, затем выдыхает, – примерно.

Улыбка на моих губах никак не держится, сползает, зараза, хоть гвоздями приколачивай. «Дата»... надо же было ляпнуть! Его самодовольная ухмылка только подтверждает – я плохая актриса, но все же расправляю плечи и спину, задираю нос и стойко держу оборону, пока взгляд из-под полуприкрытых век снисходительно елозит по моему лицу. А еще он легкий, совершенно бесшумный. Поэтому я терпелива.

– А остальные? – спрашиваю.

Какое-то время он молча разглядывает меня, и я смотрю ему в глаза, стараясь соответствовать, стараясь быть равной, учась наглости и самоуверенности прямо на скаку. Потому что он сильный.

– Близнецы еще не появлялись. Тройка, Медный и Вошь были, но ушли за полчаса до тебя.

– Втроем, что ли?

Он молча кивает и по-прежнему водит острым лезвием

узких зрачков от моих глаз, к носу, губам, скулам и возвращается к переносице, чтобы, резанув по сетчатке, начать эту попытку заново.

– Зачем?

Я молюсь всем Богам и жду. Он лениво пожимает плечами:

– За батарейками, вроде.

«Вроде»... Можно подумать, что они могут выйти за порог, не отчитавшись. Вот что на самом деле мерзко, так это то, что его положение никто и никогда официально не закреплял – ни в одной норе, ни в одном «крысятнике» больше не осталось и следа былой субординации – все сожрал Апекс. Раз и навсегда. Теперь никто никому не подчиняется. Апекс стер с лица Земли всякую власть и подарил людям анархию во всей её красе, без всякой романтической хрени, вроде «секс, наркотики, рок-энд-рол». И вот тогда-то выяснилось, что даже те, кто во всеуслышание кричали о ней, призывали её, на деле оказались совершенно не готовы к оборотной стороне медали. Анархия – она для безжалостных от природы, жестоких по своей сути, а таких – раз, два и обчелся. Но сегодня к каждому такому, как к магниту, тянутся люди, добровольно передавая бразды правления – без жесткой руководящей власти размякшие, бесхребетные люди чувствуют себя, как без трусов – ходить можно, но уж очень непривычно. Даже на грани вымирания людям нужна «сволочь», которая будет принимать непопулярные решения за них. По-

этому хаотично и беспорядочно создавались крохотные норы численностью не более тридцати-сорока человек и очень большие мини-государства, где число выживших давно перевалило за две с половиной тысячи. Наша «сволочь» стоит передо мной и в упор рассматривает мое лицо. Он – мой ровесник, но я чувствую себя на десять, а то и на пятнадцать лет младше. Он не высокий, не здоровый, как предводители некоторых стай, его лицо не испещрено сеткой боевых шрамов и у него все конечности на месте (по крайней мере, те из них, что видны). Но он лишен жалости, а это с лихвой окупает всё вышеперечисленное.

Он спрашивает:

– Есть будешь?

– Буду.

Еще одна секундная пауза – лишь для того, что окончательно расставить акценты в этой невербальной пляске. Кто у нас подтухшее дерьмо? Я, конечно. Вот... умница. Он обходит меня, медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно невысокое тело весит целую тонну, а я чувствую холодную каплю пота, ползущую по моей спине. Закрываю глаза – больше сегодня я не потяну ничего. Мой запас прочности – на нуле, стрелка – в красной зоне, и я молюсь, чтобы это испытание было последним... нет, нет – крайним (сейчас все говорят «крайний», как парашютисты) на сегодняшний день, потому что больше мне не сдюжить. Нужно поспать. Да и не поспать вовсе, а просто остаться одной – там, где никто не

будет смотреть мне в лицо и искать там бессилие. Бессилие, будь оно неладно, стало камнем преткновения современного мира. Страхом сегодня никого не удивишь – сейчас все живут в нем. Отчаяньем, жестокостью, предательством, наглостью, подлостью – тоже, а вот бессилие... бессилие – это крест. Тот, кто сдался – идет на корм Красным. Тот, кто сдался – балласт, и он на хер не нужен, когда судно идет ко дну.

Поворачиваюсь и иду следом. Я не хочу есть, но плохо есть, плохо спать, плохо бегать, соображать – значит проявить бессилие, и мы снова возвращаемся к правилу первому – отставших не ждут, балласт – за борт. А я за борт не хочу.

Центрального освещения не стало с самого начала, а потому тот немногий свет, что есть – лампочки на шестьдесят ватт, запитанные от автомобильных аккумуляторов, и самые простые парафиновые свечи. В этом полумраке, естественно, ничего не видно, но всё время, что я давлюсь консервами и пихаю в себя серый, плоский хлеб, он пристально смотрит на меня – это такой ежедневный экзамен, и ты, хочешь, не хочешь, должен делать вид, что голоден. Границы личного пали – люди не могут, да и не хотят оставаться одни, и теперь еда, сон, досуг становятся достоянием общности. Мы, как заведенные куклы, должны всё время быть в полной боевой готовности, чего бы это ни касалось. Еда, сон, тело, мысли, чувства, реакции – все по максимуму, все снято с предохранителя. Иначе ты идешь на корм Красным. Здесь обязывают

наслаждаться жизнью, даже если она встала поперек горла, как рыбья кость, потому что иначе ты – балласт, бесполезный рот, который не просто не оправдывает свой паек, но, что гораздо хуже, подведет в самый неподходящий момент. Ты обязан привыкнуть, приспособиться, обязан выработать иммунитет к тому, что творится вокруг а иначе...

– Кто тебя сожрал?

Поднимаю на него глаза – глупый вопрос. Кто еще мог, если не Красный? До каннибализма дело еще не дошло, но всё же, я отвечаю:

– Красный.

– Большой?

Голос у него мягкий, тихий. От этого становится нехорошо, и перловка с говядиной лезет вверх по глотке, словно говядина еще живая.

– Средний, – я пожимаю плечами, словно мне от его голоса, от его взгляда, от его манеры говорить ни холодно, ни жарко. Он терпеливо наблюдает мое представление – те, кто все еще умеют разыгрывать стойкость, пока – не балласт. Но, как я уже говорила, официально у нас нет руководителя, а потому хамство и грубость дозволены, а в некоторых ситуациях даже приветствуются, а потому я говорю с набитым ртом. – Ты мне пожрать дашь? – облизываю грязные пальцы, потому что мне было лень идти за ложкой, лень разогревать перловку с говядиной, а её в неразогретом виде можно выковыривать прямо из банки и есть кусками. – Или так и бу-

дешь мне в рот заглядывать? Может, еще куда заглянешь? У меня, кроме рта, есть и другие отверстия.

Он смеется:

– Например?

– Уши, нос – выбирай, что больше нравится.

Я такая смелая, потому что точно знаю – никакие из моих отверстий ему и даром не нужны, но если ты можешь нести откровенную пошлятину, не краснея – это огромный плюс. Умеешь правдоподобно пороть чушь – плюс. Собираешь всякий мусорный бред из своей головы и выдаешь его за философские умозаключения – плюс. Ловко сочиняешь матерные частушки и анекдоты – тебе вообще нет цены. В общем, всё, что хоть как-то отображает мыслительную деятельность в твое голове, идет тебе в зачет, потому что это значит, что ты всё еще жив, а главное, что всё еще хочешь жить.

Какое-то время мы смотрим друг на друга, а потом он поворачивается и кивает головой в сторону:

– В душе есть вода, возможно еще теплая. Последнее чистое полотенце я на себя потратил – оно висит рядом, на вешалке и, поверь мне на слово, это – самая чистая альтернатива.

– Разберусь, – говорю я.

Он кивает и поднимается. Когда он выходит из «кухни», мне становится так легко, что я готова пуститься в пляс. Жую и ногой притоптываю, потому что когда не тебя не смотрят,

еда становится вкуснее. Я жую и думаю, почему, из всех выживших, мне единственной еда не кажется омерзительной? Все твердят, что им осточертели консервы, а хлеб, который мы делаем, на вкус – как туалетная бумага. Но мне так не кажется. Во-первых, потому что я не из тех, кто знает вкус туалетной бумаги, а во-вторых, мне, действительно, не противно – да, я не в восторге и смело могу не есть, если того потребуют обстоятельства, но и плевать мне тоже не хочется. Но в первое время всякий раз, когда люди ели, мне приходилось незаметно оглядываться по сторонам, и если я видела, как люди кривятся и морщатся, я копировала их, что бы ни лежало у меня на тарелке. Это теперь в этом нет необходимости, потому что теперь они всё обо мне знают, но время от времени по людским лицам пробегает волна омерзения, и тогда я кривлю лицо с ними заодно, на «автомате». Потому что в наше время нельзя выделяться. В наше время жизненно необходимо делать, как другие делают, мыслить, как другие мыслят. Слишком хорошо – тоже не хорошо – равно как и бессильных, инакомыслящих тоже не любят. Пожалуй, даже больше, чем первых, а потому ты обязан подстроиться под единый стандарт – не больше, не меньше, не тише, не громче, не уже, не шире, и уж совершенно точно, не умнее остальных. И не потому, что того требуют надуманные правила, высосанные из пальца, условности современного общества (вернее того, что от него осталось), а потому, что таковы законы реальной, уличной жизни – ты обязан быть нужного

калибра, потому как иначе просто не поместишься в обойму. И не выживешь.

С едой покончено. Я убираю со стола, мою посуду в тазу с водой – глубокую алюминиевую чашку, битую и кривую – выливаю грязную воду в ливневку у стены, вытираю руки полотенцем. «Кухня», «душ», «спальня» – все это тоже условности, которые люди притащили из прошлого. В конце концов, надо же как-то называть ту часть подземной парковки, где мы едим? Не говорить же «то место, где едят» или «там, где стол»? Слишком неудобно, а потому, та часть подземелья, где стоит длинный стол, в углу, прямо на полу возле стены, аккуратными колоннами составлены чашки, вложенные одна в другую, а крохотная одноконфорочная плитка покоится на старой неработающей морозильной камере, у нас зовется кухней. Эта морозильная камера, кстати, вгоняет меня в ту же депрессию, что и «надоевшая» еда – каждый, кто видел её впервые, улыбался и говорил: «О! У моей бабушки была такая». Потом – дружный смех, теплые улыбки, на которые мне совершенно нечего было ответить – у моей бабушки её не было, потому как не было, собственно, самой бабушки.

Пересекаю стоянку под гулкое эхо собственных шагов, чувствуя на себе его взгляд, и подхожу к огромной бочке, намертво присобаченной к бетонной стене. Центральное водоснабжение, не работает тоже, а потому это стало самым простым решением. На самом деле у нас есть не только самое

просто, но и привычное решение – оно находится на первом этаже, в служебном помещении – три душевые, одна из которых была доработана согласно суровым реалиям нашего времени. Она рабочая, но ею уже давно никто не пользуется, потому как слишком трудоемкий процесс нагрева, слишком долго ждать и слишком далеко идти, а потому... бочка почти под самым полотком, из неё выходит гибкий шланг, на конце которого старая пластиковая лейка – очень маленькая, чтобы не тратить много воды. Это наш «душ». Под пристальным взглядом я снимаю с себя одежду – тело мгновенно покрывается каскадом мурашек, потому что семнадцатое сентября хоть и пришлось на пик «бабьего лета», но все же это уже осень, и от былой жары осталось не так много. Встаю голыми ногами на резиновый коврик на полу. Я не тружусь доставать ширму – взгляд из темноты меня не смущает. Мне плевать, потому что в наши дни мое тело настолько же далеко от идеала женской красоты, насколько далека от сексуальности дохлая крыса. Помню, как однажды Медный, глядя на меня, в чем мать родила, сказал мне, что в былые времена я бы пользовалась спросом у мужчин. Помню, я оглядела свое тело и вопросительно подняла на него брови. Тогда он рассказал мне, что на заре двадцать первого века в моду вошли именно такие, как я – тонкие, жилистые, с минимальной прослойкой сала и ярко очерченным рельефом мышц. Он сказал, что, не обремененные лямкой работы, женщины того времени половину своего свободного времени проводи-

ли в тренажерных залах, чтобы добиться эффекта «сушеной воблы». Все это он говорил, равнодушно оглядывая мои подтянутые бедра, плоский живот, на котором отчетливо виден рисунок пресса, упругий зад и маленькую грудь – и смотрел на меня, как на дохлую крысу. Тогда, в тот самый момент, мне было обидно до слёз. Но позже я смирилась с тем, что мне никогда не быть желанной, и на удивление быстро ужилась с этой мыслью. Двадцать второй век принес совершенно иные стандарты женской красоты, которые не опускались ниже ста килограммов, а с таким темпом жизни, скоростью бега и рационом питания сексуальной мне не стать никогда. Поэтому я безо всякого стеснения поворачиваю вентиль. Вода – прохладным шелком по горячей спине, и я улыбаюсь. Нежный шелк воды струится по коже, смывая с меня пыль, пот и соль – мое тело наслаждается, раскрываясь, словно цветок – вода струится по шее, спине, ягодицам, ногам, забирая с собой крохотные частички меня, она вытягивает электричество из моих мышц, оставляя приятную пустоту. Вода творит чудеса, она – словно объятия старого друга, она множит на ноль усталость и смывает раздражение, забирая их с собой, заливая ими резиновый коврик, смывая их на бетонный пол, стремясь грязным ручьем вдоль стены и падая сквозь широкие прутья ливнёвки, ускользая куда-то вниз, по сточным трубам. Во всем мире, пожалуй, только вода по-прежнему может двигаться туда, куда ей хочется. Водоотведение тоже не работает, а потому некоторые футурологи-юмори-

сты предрекают нам утопнуть в собственном дерьме в самое ближайшее время.

Закрываю вентиль и беру полотенце. Оно все еще влажное, но чистое – надо отдать должное «нашему жестокому» – он весьма чистоplotен, за ним хоть трусы донашивай. Вытираюсь и вешаю обратно – в нашем мире никто не пользуется свежими полотенцами, а потому я расправляю его, что бы те, кто будет вытираться после меня, могли пофантазировать, что на нем муха не сидела. Одеваюсь и поворачиваюсь – долго вглядываюсь в темноту подземной стоянки и никак не могу найти его. Странное чувство – взгляд ощущаю, а человека не вижу. Очень неприятно, и само собой, он это понимает. Поэтому-то и не торопится. Опускаю глаза и решаю не искать. В конце концов, он и сам не постесняется заявить о себе, если что-то будет нужно. Медленно обуваюсь и неторопливо затягиваю шнурки на кроссовках, любуюсь белой фирменной «галкой» на внешнем боку кроссовок. Люблю хорошие «кроссы». Кроме меня их никто не носит, поэтому у меня огромный выбор – меняй хоть каждый день. Остальные уже давно пришли к выводу, что кроссовки в наше время – вещь, мягко говоря, непрактичная, а потому все носят «берцы». А по мне, так ничего уродливее человечество еще не придумало, и, боюсь, уже не сподобится. Поворачиваю ногу, осматриваю кроссовки со всех сторон и тяжело вздыхаю – на правой ноге, с внешней стороны, как раз между тканью и подошвой, зияет дыра в пару пальцев. Придется выбросить.

Очень жаль. Мне они нравились. Вот почему кроссовки никто не носит – потому что никто из представителей этого типа обуви, к какому бы громкому имени они ни принадлежали, не выдержит быстрого бега по пересеченной местности, по раскученным дорогам, заваленным камнями. Они не выдерживают низкой влажности – ломаются, как трухлявая кора, не справляются с альпинистскими марш-бросками, когда стены домов превращаются в вертикальную полосу препятствий. Поэтому берцы практичнее. Поэтому-то я их и не ношу. Я улыбаюсь одними губами и стараюсь запихать свою улыбочку, куда подальше – вот теперь-то, блядь, она расцвела. Стискиваю зубы, матерю себя – мне требуется несколько минут, чтобы лицо стало таким, каким ему быть полагается – резиновой маской с застывшей на ней печатью принуждения и необходимости. Поднимаю голову и кричу в обитаемую часть темноты:

– Я нужна?

Тихий шелест шагов, еле слышных, крадущихся, словно я – не человек, словно я – Красный. Он подходит, смотрит на меня, он улыбается:

– Куда собралась?

Смотрю на тонкий серп улыбки, судорожно вглядываюсь в узкий просвет между веками, а в голове носятся, бегают, спотыкаются и валят друг друга на пол в бессмысленной суете, мысли, одна другой дурнее. Он медленно жует корку серого хлеба. Молча демонстрирую дыру в кроссовке. Он смотрит

на неё, понимающе кивает. В сотый раз он предлагает мне надеть берцы.

– Они тяжелые, – говорю я. – В них ноги не поднять. Они весят половину меня, как мне в них бегать?

Он снова понимающе кивает, только теперь его лицо растягивает не улыбка, а оскал – мы поднимали эту тему неоднократно, и он – не идиот. Тут, в общем-то, и семи пядей во лбу не нужно – в мире, где всем плевать, как они выглядят, что они едят, как часто моются, в мире, где больше не осталось стен, где рушились последние останки личной жизни, как понятия, где не осталось порядка, но и хаос на его место не пришел, в мире, где секс был разрешен и приветствовался, но никто не занимался им, потому что все человеческое в нас гибло, определенно не было никакой потребности в красивой обуви. Была потребность – в прочной. Все внутри нас кричало о том, что грядет конец света, закат человеческой расы, а я волнуюсь о красоте своих ног. Инстинкт размножения задохнулся внутри наших тел – в нем просто отпала нужда, ведь если два человека не в состоянии породить третьего, в сексе просто нет необходимости. А я тут о кроссовках, знаете ли. Полагаю, это кажется странным и звучит совершенно неправдоподобно, но в далеком будущем, когда весь мир полетел к чертям, когда никто никого не ограничивает, люди перестали хотеть – и не только другу друга, они перестали есть от пуза, пить спиртное, употреблять наркотики, спать до обеда, валяться без дела сутками напролет и пялить глаза в

книги. Мы боялись, что все кругом начнет сыпаться, превращаться в тлен и песок – здания – крошиться, вываливаться – камень, и кирпич будет рассыпаться в труху, бетон снова станет залежами породы, только теперь будет зарыт не в землю, а в стены. Но этого не случилось. Все стоит нетронутым – точно таким же, каким было в тот злополучный день. Люди погибают, раздираемые Красными на части, они умирают, не успев почувствовать боль, людей косят самые простые болезни, и банальная простуда легко превращается в воспаление легких, и мы ничего не можем с этим сделать. Не потому, что нет препаратов, а потому что вымерли все, кто знал, как ими пользоваться. Аптеки переполнены, продуктовые прилавки все еще забиты продуктами, но человечество – величайшей виток эволюции – гибнет. Из прошлого осталась только музыка – странно сказать, но семь нот держат нас на плаву, не дают оскотиниться, сохраняют некоторый баланс между человеком и животным. Словно личный психолог, друг и любовница, у каждого из нас свой персональный аудиоплеер, и чтобы вы не думали, что все настолько плохо, скажу – самое восхитительное, вечное и прекрасное, что мы создали по-прежнему с нами. Мы храним это бережно и нежно, мы с любовью носим музыку во внутренних карманах и прячем её от посторонних ушей. Забавно, но сейчас вы гораздо быстрее увидите чью-то голую жопу, нежели его плейлист. Жопа – как жопа, у всех одинаковая, а вот плейлист – слишком личное, очень уж интимное. На зарядку плееров никто не

жалеет аккумуляторов – это свято. Если бы не музыка, пере-
дохли бы, как крысы, уже давным-давно. Кстати, о крысах...

– Так я нужна или нет? Полотенец чистых нет? Могу стир-
кой заняться...

– Не надо. Половину старых мы пустили на тряпки, а те,
что пригодны, уже постираны. А еще мы наткнулись на отдел
всякого домашнего барахла на третьем этаже, так что...

– А какого хрена ты сказал, что это последнее чистое?

– А какого хрена ты все еще веришь людям на слово?

– Ну и мудака же ты... – говорю я, завязывая второй крос-
совок. Поднимаюсь и разгибаюсь во весь свой полутораамет-
ровый рост и смотрю ему в глаза. – Я – наверх, за обувью.

Обхожу его и медленно шагаю к лестнице, ведущей из
подземной стоянки на первый этаж. Все время чувствую на
себе его взгляд, словно у меня глаза на спине – вижу, как он
раскрывает рот и наполняет легкие кислородом, чтобы ки-
нуть, будто бы в пустоту слова, сказанные вроде как в нику-
да, но обращенные именно ко мне:

– Как бы нам случайно, глупо и нелепо не потерять кол-
легу из тупого упрямства...

Останавливаюсь и замираю. Тварь обнаглевшая! Скалю
зубы, зная, что он не видит, но оборачиваюсь с лицом-мас-
кой:

– Давай уже на чистоту?

– Да куда уж чище-то?

– Хочешь сбросить меня?

Он пожимает плечами так, словно мы все еще обсуждаем полотенца:

– Это не я хочу. Судя по всему, этого хочешь ты.

– Не хочу.

– Эт хорошо...

– А вот этот треп про потерю коллеги к чему вообще?

– Этот треп не про потерю кого бы то ни было, а про тупое упрямство, – он резко срывается с места и шагает ко мне, и теперь в его походке нет тяжести, нет лени. – Этот треп про то, что у тебя подошва может разлететься прямо на ходу, а ты волнуешься о том, как выглядит твоя нога, – он мгновенно ускоряется, хватая меня за грудки. – Я сто раз тебе говорил – обуйся!

– Они тяжелые!

– Не тяжелее твоей задницы!

– Тебе легко говорить! – я пытаюсь вырваться. – В тебе сколько? Семьдесят? Семьдесят пять?

Тут он выпускает из своих рук мою одежду, резко наклоняется и хватая меня за правую ногу, легко отрывая её от земли. Я едва сохраняю равновесие, нелепо размахиваю руками, цепляюсь за него, впиваясь пальцами в его спину, в то время как его пальцы скользят в дыру в моей кроссовке. А в следующее мгновение мою ступню резко и больно тянет вниз, словно по моей ноге проехал грузовик – жуткий треск оглушает меня, разлетаясь в разные стороны, отражаясь от стен, пола и потолка, а секундой позже моей ноге становится

прохладно и свободно. Эта сволочь разгибается и рычит мне в лицо:

– Если такое произойдет на улице... – он машет перед моим лицом оторванной подошвой моей кроссовки, я щурю глаза, хмурю брови и уворачиваюсь, – ... первый же Красный, который добежит до тебя, взорвет твои кишки, как фейерверк! – он отбрасывает в сторону кусок белой пены, я делаю шаг назад, чувствую правой ногой ледяной бетонный пол. – Когда будешь лежать и смотреть, как летит в небо твоё нутро, помни, что ты пожертвовала им ради красивой, ЛЕГКОЙ обуви!

Он толкает меня, я делаю несколько шагов назад и тут же взрываюсь потоком слёз и истерики – я раскрываю рот, как рыба, выброшенная на берег и беззвучно рыдаю, закрывая руками лицо, и пячусь назад под градом его слов:

– Какого хрена ты рыдаешь? Тебе ли рыдать, а? Вот когда увидишь это своими собственными глазами, вот тогда и рыдать будешь! – он идет на меня и ярость шрапнелью летит из его уст. – Думаешь, большое удовольствие смотреть на твои потроха? Пошла на хер отсюда, и чтоб я тебя больше не видел в этом дерьме! Еще раз увижу – отрублю стопы вместе с ними!

Я разворачиваюсь и бегу со всех ног. Не разбирая пути, не глядя, через три ступеньки, словно сам черт за мной несется, я лечу вверх по лестнице, забираясь все выше и выше. Как будто там другая реальность, словно там наверху чище

и светлее от того, что ближе к солнцу. Там не ближе к солнцу, там дальше от сборища подвальных крыс. Я останавливаюсь не потому что устала, а потому, что сама себе приказала – стоп. Бегать я привыкла, потому легко могу добраться до крыши, а там, чего доброго, сигануть с неё, даже не заметив. Стой! Стой. Остановись... Шелест дыхания, грохот сердца, истерика в кончиках пальцев. Тихо... тихо... Дрожь, дыхание, стук. Вот сука! Вот мразь! Гребаная тварь! Лестница, другая, третья. Самого бы тебя к Красным. Уж я бы на твои кишки полюбовалась бы, скотина. Оглядываю лестничный пролет, чтобы понять, куда меня занесло. Седьмой этаж. Твою мать, даже не заметила. На дрожащих ногах – обратно вниз – одна нога ступает на теплое и пружинистое, другая – на холодное и твердое. Крою матом и тут же уговариваю себя, что один мат за другим – очень неэффективный способ успокоится. Разбавляю маты нормальными словами, но всякое словесное дерьмо, вроде «ублюдка», «поддонка» и «мудака» льется из меня вне очереди. Какой этаж? Третий. Иду к двери, которая ведет к служебному выходу на этаж, и толкаю её.

Огромный длинный коридор открывается предо мной, распускаясь длинной широкой улицей, расходясь в стороны короткими веточками стеклянных витрин – большие и маленькие альвеолы, где за стеклами – куча теперь уже никому не нужного барахла. Когда Апекс стер с лица Земли жизнь в её привычном понимании, когда все рухнуло и разлетелось

на куски, когда на улицы хлынули Красные, те из рода людского, кто был быстрее, сообразительнее и сумел выжить, спрятались там, куда успели добежать. Я в числе восьми сотен других крыс оказалась в огромном торговом центре. Делаю шаг вперед, еще один и еще. Тихо. Склеп. Памятник былому. Правая нога начала вопить о холоде – отпускает потихонечку. Я ускоряюсь и иду вперед, оглядываясь по сторонам – тут не опасно, здание забаррикадировано, но я все еще на взводе, а потому все мое тело – ржавая, тугая пружина, которая никак не может вернуться в исходное положение и расслабить витки. Ублюдок! Вывел меня, довел до слёз. Ведь видел же, что на честном слове держусь... Длинный коридор мелькает высокими стеклами витрин по обе стороны коридора. А я-то хороша – не зря Медный меня дурой называет. «Дура дурой» – конец цитаты. Длинный коридор упирается в стену и разделяется в двух противоположных направлениях. Я поворачиваю направо и сбавляю темп. Торопиться уже некуда – обосралась по полной, теперь-то куда спешить? Слева – глухая стена, а по правую руку – отдел с декоративной косметикой (туда никто ни разу не заходил), дальше – отдел домашнего текстиля (там пустые полки, а на полу можно разглядеть старые и совсем свежие следы от пыльных ботинок), следом – отдел нижнего белья (здесь стало пусто почти сразу же, и только один – единственный манекен все еще одет в вызывающий, нежно-розовый комплект откровенно порнографического контента), и, наконец, отдел,

где исполинская вывеска и высокие стеклянные витрины, где огромные растяжки, плакаты и стены оклеены фотообоями с людьми, застывшими в прыжке, бросающими в кольцо баскетбольный мяч или запечатленными в момент отрыва ноги от беговой дорожки – замороженные во времени, застывшие в неподвижности подтянутые тела, покрытые капельками пота, сконцентрированные лица, сжатые в кулаки ладони, оскаленные клыки. Оглядываюсь и смотрю на этих людей, и впервые мне становится интересно, вот они – те, кто позировали для этих фото – выжили? Привычным движением огибаю центральную стойку, где висят зимние пуховики, и шагаю к стенду с обувью, останавливаюсь напротив и прицельно смотрю на четыре модели, которые присмотрела уже давно, тяну руку к одной из пар и... останавливаюсь. Вот сука! Одергиваю руку, словно мне по пальцам линейкой врезали. С тоской оглядываю огромный стенд – яркие, красивые, легкие торпеды с тонкими дышащими стельками, гнущимся верхом и обтекаемыми формами подошвы из пены. Теперь это и не для меня тоже. Вот ублюдок, мать его! Рычу и разубаиваюсь – снимаю свои кроссы, в сердцах швыряю об пол то, что осталось от правой кроссовки и забрасываю в дальний угол уцелевшую левую. Черт бы тебя побрал!

Разворачиваюсь и выхожу из отдела босиком.

То, что мне нужно, находится этажом выше, и я иду обратной дорогой, повернув налево на первой же развилке. Еще одна причина, почему он настаивает на берцах, это их место-

расположение – единственный отдел, где когда-то продавалась спецодежда, а теперь хранится весь наш вещевой запас, в том числе и, мать их за ногу, берцы, находится на четвертом этаже. А там у нас живет Василий. Мурашки по коже, ком подступает к горлу, бросает в жар и холод одновременно. Коридор упирается в невзрачную дверь, и я снова выхожу на лестницу. Поднимаюсь по ступеням, ступая ногами в носках прямо по холодному кафелю, и очень скоро оказываюсь напротив двери четвертого этажа. Вдох, выдох – кишки заворачиваются, спина покрывается испариной. Да не стой же ты!

Толкаю дверь, и та бесшумно открывается. На этаже звенящая тишина, словно туман в воздухе, осязаема и ощущается тонким смогом, легкой взвесью, стелящейся по углам огромного темного коридора. Делаю шаг и внимательно вслушиваюсь. Тут тоже безопасно – он очень надежно заперт, но мне все равно нехорошо. Руки трясутся, горло высохло, язык онемел. Вдруг, он вырвался? Маловероятно, но все же... Еще несколько шагов делают меня смелее, и я ускоряюсь. Мимо Василия не пройдешь – он прямо в центре развилки и другими путями к обуви не подобраться. Зачем? Ну, во-первых, целенаправленно следить за ним некому, да и желающих немного – кому же хочется тарашиться на эту хрень двадцать четыре часа в сутки, а потому это единственный способ отслеживать его судьбу. Ну, а во-вторых... во-вторых, наша сволочь утверждает, что мы должны восприни-

мать их, как должное, мы обязаны приучить себя относиться к ним равнодушно. Если получится. А если не получится, то хотя бы не впадать в ступор. В идеале мы должны выработать иммунитет, и это своеобразная прививка: «Василий должен стать обыденностью, такой же простой и рутинной вещью, как собственное дерьмо в толчке», – конец цитаты.

Впереди вырисовывается огромный куб – мы долго и кропотливо ваяли его на протяжении многих реверсов, и его очертания отпечатались в мозгу так отчетливо, что я досконально помню все детали его конструкции. Я знаю, что он очень прочен, но все же, кишка за кишку заворачивается, и сердце неистово колотится в груди. Куб растет, мое сердце бешено молотит. Мои шаги не слышны, дыхание – через рот – чтобы и мышь ухом не повела. Движение вдоль стены, я осторожно, очень тихо приближаюсь к огромному прозрачному сооружению из закаленного стекла, чтобы не...

БАХ!

Резкий, громкий удар о стекло. Визжу, отбегаю назад. Мотор в груди так долбит, что я ничего не слышу, кроме грохота крови в ушах. Я неистово шарю глазами по кубу, отступая на полусогнутых, готовая в любой момент припустить, если понадобится. Но проходит секунда, две, три... я вижу его. Он – внутри. Вот ублюдок... Красная тварь расцветает по ту сторону стекла, вырастая во весь рост – длинные ноги поднимают гибкое тело, тонкие руки впиваются в стекло и, словно силиконовые, прилипают к поверхности, как будто он

задумал просочиться сквозь несколько слоев ударопрочного стекла. Его тело – безликая масса, без костей, формы и сущности. Он похож на человека лишь потому, что охотится на него. По ту сторону стекла на меня смотрит Красный – его лицо вглядывается в темноту коридора, пытаюсь копировать меня. И именно попытка повторить заставляет меня сделать еще один шаг назад. Копируют они весьма достоверно, при том, что у него даже глаз нет, и видит он меня не благодаря отраженному свету (мы абсолютно точно знаем – они видят в крошечной тьме). Уши ему без надобности, потому что для них слышать – не значит уловить движение волны, и децибелы им по боку. И чует он меня не носом. Вся эта мерзкая красно-коричневая жижа под прозрачно-розовой кожей – один большой, единый орган осязания. Красный – огромный датчик, настроенный на человека. Датчик и изоощренный способ убийства. И вся его система обнаружения работает совершенно иным способом – он нас просто чует. Не знаю – как, понятия не имею, с чем это можно сравнить, потому что никто не знает принципа работы его «радар», но одно могу сказать наверняка – он найдет человека за семью замками, отыщет в самую глухую, беспроглядную ночь при полном штиле. Вы не обманете его запахом, не собьете со следа звуками и следами ног, если будете идти спиной вперед. Ему плевать, что вы там вытворяете – он видит вас всем своим существом.

Останавливаюсь. Красный замирает вслед за мной. Мо-

жет, минуто, а может всю мою жизнь мы палимся друг на друга, словно время что-то решит. Смотри не смотри, никому из нас ничего непредвиденного эта ситуация не сулит – он за стеклом и добраться до меня не сможет, я – тоже за стеклом, хоть и по эту сторону, и мне нечего бояться. Но это только на словах так просто, а на деле, чтобы сделать шаг вперед, мне понадобилось всё мое изрядно потрепанное мужество. Шаг и еще один, сокращают расстояние между мной и стеклянной клеткой, и все меньше и меньше уверенности в моих движениях, и все сильнее урчит в кишках – блин, не обделаться бы. Все время красный неотрывно следит за мной – его круглая голова нацелена на меня, и лицо, если так можно назвать ровную выпуклую поверхность, где ни глаз, ни носа, ни ушей – просто ровное красно-коричневое яйцо в мутной розовой пленке – внимательно всматривается в меня, ловя в кромешной тишине каждый звук, каждый трусливый импульс, что роняет в пустоту мое тело. Красный тянет голову вниз, опуская её ниже уровня плеч, и прижимает покаты́й лоб к стеклу – тот расплющивается и рассекается по прозрачной перегородке, и я очень красочно представляю себе, что было бы, будь мы оба свободны.

– Привет, Василий... – непонятно зачем говорю я, обходя прозрачный куб слева. Красный отлепляет голову и руки от передней стенки куба и медленно переступает ногами, следуя за мной. Обхожу левый угол стеклянного карцера и наблюдаю за тем, как двигается Красный – неуклюже, нелов-

ко, медленно. Медный говорит, что это была наша первая ошибка – когда мы впервые увидели этих тварей, мы подумали, что эта мерзкая куча дерьма не может причинить нам вред, поскольку на неё смотреть-то было жалко, не то что бояться – странное, жалкое, жуткое существо, которое толком со своими – то конечностями сладить не может. В спокойном состоянии они похожи на шевелящееся желе, и никому и в голову не пришло бегать от существа, которое еле тащит студенистое туловище на тонких, бесформенных, подгибающихся ногах. Как же дорого обошлась нам наша гордыня – в тот первый день счет шел не на сотни – тогда люди гибли тысячами. Второй ошибкой было полагать, что у них нет рта...

Вытянутое яйцо-лицо разделилось пополам, и нижний кусок «лица» почти отвалился – рот появился там, где и должен был, что случилось не всегда, но был неестественно огромен. Мое лицо совершенно непроизвольно скривилось от отвращения, наблюдая за попытками Василия вернуть на место сползающую на грудь нижнюю челюсть – внутри расцветала сверкающая россыпь зубов, искрящихся в скудном свете опасной красотой ленточной пилы в несколько рядов – крошечные, мелкие, их было так много, что они спускались почти до самого горла, выстилая рот твари смертью. Упавшая нижняя челюсть вернулась на место, только теперь рот стал круглым и напрочь лишился губ – Красный прилип ртом к стеклу и присосался на манер пиявки, демонстрируя мне свои намеренья.

Вот тут я захохотала – нашел, чем напугать! Ваши глотки уже давно стали для человечества синонимом дешевых второсортных порнушек – неестественно, бездарно, сюжет избыт, актеры невразумительны и вообще, всё это уже где-то было. Я показала ему средний палец, и уже было собиралась отвернуться – надо же, наконец, достать эти гребанные берцы – но тут Красный отлепил свой хобот, вытянулся в стройную прямую и красочно показал мне, как хорошо знает, чего я боюсь.

Чего мы все боимся.

Он съежился, уменьшаясь прямо на глазах, словно кто-то стравливает воздух из воздушного шара. Я дернулась – улыбка сползла с моего лица. По ту сторону стекла бесформенное желе обретало форму, и я уже знала, что это будет – моя голова непроизвольно замоталась в стороны. Пячусь назад и смотрю, как красно-коричневое месиво становится тонким и хрупким – шея, плечи, руки становятся покатыми, но слегка угловатыми, отчего скорее напоминают мальчишку, нежели двадцатиднолетнюю девушку. Но я точно узнаю рельеф живота, плоских, иссушенных бегом бедер и изгиб икр, которые выдают заядлого спринтера – там, за стеклом, появляюсь я. Раскрываю рот в немом мате – Красный не умеет копировать цвет, текстуру, детали, но и того, что я вижу вполне достаточно, чтобы взорвать мой пульс до небывалых высот. Красно-коричневая «я» пялится на меня с той стороны стекла – её руки – безвольными плетями вдоль тела, её

ноги косолапят, а голова прямо и беззастенчиво сверлит меня несуществующими глазами. Красный умеет копировать лишь формы, а потому «я» по ту сторону стекла выглядит, как статуэтка из кишок и крови, завернутая в розовый презерватив.

Мой желудок метнулся к горлу. Разворачиваюсь и бегу, оставляя за своей спиной прозрачный куб и мерзкую тварь, которую мы ласково именуем Василием.

Мой взгляд елозит по тонким травинкам – их зелень, нарочито яркая, сочная, покрытая жемчугом прозрачной росы, рябит в глазах, будто движется. Медный сказал, что на самом деле трава не была такой зеленой. Но мне плевать, потому как она, сфотографированная и приукрашенная, гораздо живее, чем та, что сейчас на улицах. Беглый взгляд в угол – оттуда не меня ехидно смотрит пара полуботинок на шнуровке. Отворачиваюсь – глаза б мои не видели этого уродства. Ложусь на спину и смотрю на потолок – там голубое небо с одной стороны и звездное иссиня-черное с другой. Смена дня и ночи тоже не выглядела так, как на моем потолке. В тысячный раз задаю себе вопрос – почему я не помню элементарных вещей? Смотрю на резкую черту, отделяющую день от ночи, (фотообои с голубым небом я просто наклеила встык с фотообоями звездного неба) и пытаюсь представить себе, как же она выглядела на самом деле. Медный рассказывал, Тройка показывала фото, но я так и не по-

няла, как яркое голубое небо может превратиться в черную звездную ночь посредством ярко-красного шара – чтобы получить черное из голубого, нужно оранжево-красное? В моей голове это не укладывалось. Переворачиваюсь на живот и чувствую, как подо мной перекатываются пружины матраса – я его просто на пол бросила. Смотрю на пшеничное море: рассветное солнце играет в колосках, и кажется, что каждое зернышко – из чистого золота. Естественно, Медный и тут сказал, что это тоже не было и в половину так красиво, как на моих фотообоях. А сам добрых полчаса (если не больше) молча рассматривал рожь в рассветном мареве. Мне тогда казалось, что он на грани – было в его лице что-то такое, что сделало его самым несчастным, самым опустошенным человеком на всей земле, готовым прямо сейчас бросить все это к чертовой матери. Наверное, это и было бессилие – в его чистом, первозданном виде. Хорошо, что в тот момент мы были вдвоем. Помню, весь оставшийся «день» он не пророчил ни слова. Кстати, «день» и «ночь» мы тоже принесли из прошлого. Вернее, не мы, а они. Я ничего не принесла, потому что у меня прошлого нет. Все, что я знаю о мире – обрывки воспоминаний других людей, их слова, их мысли, их прошлое, а значит и их выводы, основанные на вышеперечисленном, и если человек есть сумма прожитого опыта, тогда я – полный ноль. То есть получается, что вроде как и не человек вовсе. Закрываю глаза, ложусь на левый бок и подтягиваю ноги, упираясь коленями в подбородок. Я думаю о

крысах – Медный (черт бы побрал этого Медного...) говорит, что до Апекса работал старшим лаборантом в каком-то институте, на кафедре изучения социально-поведенческого чего-то там, блин и не помню уже, чего. Но не суть. Суть в одном эксперименте над крысами, о котором он рассказывал нам, будучи «под градусом». Так вот, вся его суть сводилась к тому, что большую популяцию крыс сажали в огромный закрытый, трехэтажный, прозрачный бокс, где грызуны могли свободно передвигаться по этажам. Им предоставлялось абсолютно все – еда, вода, возможность спать и спариваться сколько угодно. Не было только свободы и необходимости работать (добывать). Так вот, Медный рассказывал, что первым бросался в глаза интересный факт – крысы никогда не пользовались вторым и третьим этажами – вся огромная популяция умещалась на первом этаже, с той лишь особенностью, что они рассаживались по разным углам и старались свести к минимуму контакты между собой, потому как если таковое случалось, неизменно приводило к стычкам, дракам и, в редких случаях, к смерти. Но, несмотря на полную обеспеченность едой, водой и комфортными условиями проживания, спустя какое-то время популяция начала резко сокращаться – крысы попросту перестали размножаться. Часть из них стала гомосексуальна, остальные потеряли к сексу всякий интерес в принципе. Кроме того, каннибализм развился до небывалых процентов, несмотря на то, что еды и воды по-прежнему было вдоволь. Он не прекратился даже то-

гда, когда популяция стала настолько мала, что из огромной стаи численностью тысяча особей, осталось лишь полтора десятка, то есть тогда, когда отпала необходимость бороться за территорию. За эту увлекательную и поучительную историю наша сволочь вознаградила Медного сломанной скулой, сочным синяком и выбитым мизинцем (вопрос, что именно произошло, чтобы получилось такое забавное увечье, не даст нам покоя и по сей день), и теперь он все время жалуется, что сломанная скула ноет на перемену погоды. Ха ха, Медный, хренов юморист. Поначалу над этой шуткой никто не смеялся, а теперь она стала крылатой – с того момента, как Апекс раскрыл нам свои объятя, погода не меняется. С того самого дня, семнадцатого сентября две тысячи сто второго года, день не сменяется ночью, а на смену бесконечной осени не приходит зима, реки больше не текут, не идут дожди, семя, посаженное в землю, не взойдет даже через тысячу лет.

Мир превратился в безжизненные декорации, где подвижными остались лишь люди и Красные.

Глава 2

– Ну и как там Василий? – спрашивает Отморозок.

Поднимаю голову, смотрю на него, не прекращая шнуровать ботинок. Секундная пауза, после чего я снова опускаю голову и бубню:

– Нормально. Чего ему будет-то?

– И правда ведь, зараза, ни хрена ему не делается, – хохочет он, а затем поворачивается в «кухню» и орет. – Куцый!

Из «кухни» доносится вопросительное мычание.

– Давай траванем Василия? – орет Отморозок.

Слышатся неторопливые шаги, и к нам подходит наша сволочь – у него в руках банка с маринованными огурцами, и он с аппетитом ими хрустит. Поравнявшись с Занудой, лениво оглядывает нас троих:

– Чем? Тебя ему скормить? – говорит Куцый с набитым ртом. – Боюсь, он такое говно и жрать-то не станет, – Куцый переводит взгляд на меня, смотрит, как я маюсь со шнуровкой, и, прожевав, говорит. – Тебе помочь?

Бросаю на него быстрый взгляд:

– Не надо.

– А чё сразу говно-то? – весело парирует Отморозок. – Слушай, а может попробовать кислоту из аккумуляторов?

Куцый на Отморозка даже не смотрит, он терпеливо наблюдает за тем, как я шнурую левый ботинок. Ему отвечает

Зануда:

– Кислоты уже пробовали, – голос у Зануды слегка гнусавый, отчего кажется, что каждую секунду своей жизни он чем-то бесконечно недоволен. Собственно, за это его прозвали Занудой. На самом же деле он совершенно не зануден, просто голос такой.

– Когда мы успели?

– Не мы, – голос Зануды еще скучнее. – Другие.

– Кто?

На этот раз в разговор вклинивается Куцый:

– Северные, Центральные, Унылые, Мореходы... – Куцый смотрит на мои руки, – ...Барыги, Гастролеры и даже эти... – его взгляд становится все напряженнее и он временно теряет мысль, но затем, – ...Сектанты. Твою мать! – он впихивает Зануде банку с огурцами, и в несколько шагов оказывается рядом со мной. Садится на корточки – его руки выхватывают шнуры из моих и ловко сводят на нет мои старания, развязывая бездарно наложенную шнуровку. – Нужно затягивать, а не наматывать на крючки. Затягивать! Поняла? – голос его – раздраженный и резкий, руки затягивают шнуровку так туго, что я стискиваю зубы. – Они должны плотно прилегать. Как вторая кожа, ясно? Не болтаться, а сесть, как влитые. Понимаешь? – он быстро поднимает глаза, я киваю. Куцый снова опускает глаза, глядя на то, как шнуровка вдавливают в мои ноги ненавистные берцы. – Поэтому тебе в них неудобно – ты просто не умеешь их шнуровать.

С левым ботинком покончено, и он принимается за правый, пока близнецы с азартом обсуждают возможность применения кислоты на практике. Зануда гнусаво и лениво объясняет, что кислота их не берет, но Отморозок настаивает на том, кислота кислоте рознь и предполагает, что, возможно, не той кислотой пользовались.

– Да говорю же тебе, что разные кислоты пробовали, – говорит Зануда.

– И что?

– Что, что... не знаю я, что! Просто слышал, что не берет.

Куцый быстрыми, отточенными движениями затягивает шнуровку правого ботинка – молча и раздраженно. Если бы не мой рост, если бы не моя комплекция – давно бы пошла за борт. Но я мелкая и худая, а потому пролезаю в щели, форточки и лазы, куда другим и руку не просунуть. Тут, как известно, главное, чтобы голова прошла, а она у меня тоже невелика (во всех смыслах), поэтому Куцый, прозванный так за то, что всего на десять сантиметров выше меня, терпеливо шнурует мои ботинки. Во мне всего один метр пятьдесят пять сантиметров, поэтому парень, ростом метр шестьдесят пять не может иметь другого прозвища. Было бы неплохо иметь имена, конечно. Если б только вспомнить их...

– Вот! – победно говорит он и хлопает ладонью по моей щиколотке, как по спине добротной лошади. – Видишь, как должно быть?

Опускаю глаза вниз, потом смотрю на него и согласно ки-

ваю.

– А я тебе говорю, что надо попробовать, – настаивает Отморозок.

Куцый смотрит мне в глаза:

– Плотно. Как вторая кожа. Поняла?

Снова киваю.

– Говорят же тебе, дубина, бесполезно, – гнусавит Зануда.

– Да мне плевать, кто и что говорит. Мне нужно знать – почему, а не слушать бред...

Куцый поднимается:

– Кислота не берет их потому, что не взаимодействует, – он подходит к Зануде и забирает у него банку из рук.

– В каком смысле? – Отморозок смотрит в спину Куцему, который идет на кухню, ставит банку с маринованными огурцами на стол и плотно закрывает крышкой, затем открывает неработающую морозилку и ставит банку во второй поддон сверху, хлопает дверцей и поворачивается к нам:

– В прямом. Не вступает в реакцию.

– Ладно, блин, нагнал жути, – Отморозок натягивает на себя жилетку и застегивает молнию. – Рассказывай уже.

Зануда поднимается и делает многозначительное лицо, аля «я же говорил», адресуя свою наглую рожу брату, а Куцый улыбается и берет куртку со спинки стула:

– Тут особо-то и нечего рассказывать.

– Да говори уже.

Куцый смеется:

– Если на тебя полить кислотой, будет дыра. Если на Красного – придется идти за тряпкой.

– В смысле?

– В прямом. Кислота не задерживается – просачивается сквозь Красного, как вода сквозь решето, не причиняя вреда, – он надевает куртку, застегивает молнию. – Все готовы?

Этот вопрос адресован не столько нам троим – близнецы всегда готовы – сколько мне. Я поднимаюсь и киваю.

– А мне ты шнурки не завяжешь? – жеманно спрашивает Отморозок.

– Если только на шее, – отвечает Куцый.

Обходим угол – остается пересечь один квартал, а это одна большая прямая и два поворота. Близнецы быстрые, ловкие, как спецназовцы, но невнимательные, как самые обыкновенные подростки. Смотришь на них и в жизни не скажешь, что им по шестнадцать – уж так их жизнь потрепала, что сейчас они похожи на крепко пьющих двадцатилетних – лица в свежих порезах и едва заживших шрамах, оставленных зубами Красных, на руках узор тот же, только глубже и сетка белых линий гораздо плотнее, под глазами мешки от недосыпа и лица их несимметрично припухлые от синяков и ссадин – заживших и совсем еще свежих. На вид не скажешь, но они оба жутко переломаны – руки, ноги, ребра. Помимо всего прочего, у Зануды сломана ключица, не разгибается мизинец левой руки, а у Отморозка нет пары ниж-

них зубов и юбилейное сотрясение головного мозга. Все потому, что они, в общем-то, оба отмороженные, но надо же их как-то отличать? Поэтому один из них Зануда. У обоих напрочь отбило чувство страха – по каким-то странным прихотям Аpekса им напрочь отшибло инстинкт самосохранения, а потому они всегда идут первыми, лезут на рожон, не боятся темноты, глубины, высоты и закрытых помещений. Они смеются, они говорят: «Чего бояться, если есть Аpekс?» Куцего это очень расстраивает, потому что они, в общем-то, неплохие ребята. Да, действительно, правая рука каждого из нас застыла над кнопкой Аpekса, как над спусковым крючком, но только они получают от этого удовольствие – эти идиоты словно ведут счет своим нелепым выходкам и соревнуются за звание «отморозка столетия». И Куцый подолгу думает об этом. И «прыгать» им нравится, и постоянный реверс их не пугает. Оба они отмороженные, просто у одного из них гнусавый голос, поэтому он Зануда. Куцый очень злится на них, потому что, по его словам: «Не боится только конченный дебил», – конец цитаты. Но они и слушать не хотят и с задорным хохотом, безумным блеском в глазах и тупой отвагой на лице снова и снова лезут в пекло, чтобы в нужный момент, за секунду до долгожданной смерти нажать кнопку Аpekса... И начать сначала. Так бывает – есть люди, которые подсаживаются на Аpekс и начинают ловить кайф от прыжков и постоянного «сброса на ноль». Куцый говорит, что при хорошем раскладе они просто сдохнут, а при плохом – потянут

кого-нибудь за собой.

И тем не менее, я точно знаю, что вдвоем со мной он на вылазку не решился бы. А потому Отморозок идет впереди, а Зануда замыкает наш недоотряд. Пересекаем улицу наискосок и идем напрямиком к юго-западному углу дома. Чем ближе – тем быстрее, и общий темп начинает сбиваться, потому как эти двое зарядились и пришпоривают.

– Потише, – бросает Куцый Отморозку. – Сбавь обороты. Отморозок замедляется, Зануда врзается мне в спину:

– Чего встала? – шипит он.

– А ты там торопишься куда-то? – поворачивается к Зануде Куцый.

– Так мы до завтра идти будем! – огрызается Отморозок. Гребаный шутник.

Куцый поворачивается к Отморозку:

– Слышь, скоростной, я тебе сейчас ноги укорочу.

– Догони сначала.

Послышался толчок в спину и приглушенный резкий выдох сквозь стиснутые зубы:

– Да что ж ты за мудак-то...

– Тихо!

Мы застыли в тех позах, в каких застала нас команда – приняли стойку, как охотничьи псы, задрав носы по ветру, стараясь уловить приближение Красных по запаху. Тишина. Ни звука, ни движения, ни жизни. Уловить Красных по запаху, конечно же, нельзя – они не пахнут – но бесконечно

долгие три минуты мы всматриваемся, бешено вертя головами, вслушиваемся в ватную тишину, пытаюсь уловить, услышать, учуять приближение тварей. Низкое серое небо, пустая широкая безлюдная улица, заполненная небольшими магазинчиками и невысокими жилыми домами. Ничего. Пусто и тихо.

– Идем, – командует Куцый, и наш недоотряд продолжает обходить здание вдоль южной стены. Угол – Отмороженный заворачивает, всматривается и поднимает вверх большой палец. Заворачиваем за угол и быстро пересекаем торец дома. Нам нужно то, что за следующим углом – аптека. У нас уже давно нет элементарного парацетамола, амоксициллина и антацида (когда ешь одни консервы, он выходит на первый план) – только йод и бинты. Полевой госпиталь, не иначе, и это при забитых до отказа аптеках. За этим мы собирались сходить еще реверсов двадцать назад, но все никак не находилось времени (ха-ха). А вот теперь...

– Стоп, – шипит Отморозок. Но тут же разворачивается и орет. – БЕЖИМ!

Резко, синхронно мы рванули назад, а в следующую секунду из-за угла вылетел Красный – огромная тварь неслась на нас с таким остервенением, что дух захватило, словно впервые. Мы неслись, грохоча сапогами, земля отражала топот наших ног глухо, словно в вакууме, а за нашими спинами красная тварь летела так быстро, что едва касалась лапами земли. Красный принял форму хреново собранной мозаики

– голова человека восседала на теле животного, похожего на быка, но с тонкими, изящными лапами гепарда, и лапы эти, как нечто совершенно реальное, врывались длинными когтями в землю, вспарывая её, взметая клочки дерна и бетонную крошку в воздух, разрывая огромным телом мертвый мир в погоне за единственным носителем жизни.

– Сколько? – кричит Куцый.

– Один! – орет Отморозок.

– Точно?

– Да! Да!

– Берите на себя! – командует Куцый близнецам, и они тут же заходятся в восторженном улюлюканье.

Резкий рывок – Куцый хватает меня за руку и наш неотряд разделяется: два отморозка выбегают прямо на широкую проезжую часть – Красный за ними. Мы с Куцым бежим вдоль дома к противоположному торцу здания. По неизвестной причине Красные всегда охотнее выбирают близнецов. Может, чувствуют их желание сдохнуть? Преследуемые смертью эти двое орут, свистят и матерятся, увлекая Красного, как ярмарочные зазывалы – их молодые глотки сводит от восторга, их быстрые ноги летят по дороге, пересекая мертвый, застывший во времени мир. Их сердца жаждут крови, и совершенно непонятно, кто из них гонится за смертью – Красный или двое ополоумевших подростков. Сейчас два человека и одно чудовище скроются из вида, и где-то в глубине заброшенных дворов, когда их тела нальются тяжестью,

а ноги уже не смогут нести, они с упоением примут Апекс, как манну небесную, возвращаясь к тому, с чего начали.

Мы с Куцым быстро оббегаем дом вдоль стены и выбегаем к следующему торцу. Тормозим, как вкопанные – теперь у нас нет страховки. Куцый выглядывает за угол, ни на секунду не выпуская моей руки, а затем тащит меня за собой – торец дома, чист и мы подбегаем к следующему углу. Где-то на заднем фоне слышны крики, визг и безумный хохот. Куцый осторожно выглядывает за угол – чисто. Мы выбегаем во внутренний двор пятиэтажек, который в былые времена звался коробкой, и во весь опор несемся ко второму подъезду. Вход в аптеку со стороны улицы, но там вход парадный и он наглухо закрыт ставнями, а сами двери закрыты на замок – ломать их нет ни нужды, ни необходимости. Мы подбегаем к черному ходу – толстая металлическая дверь, она тоже закрыта, а вот в окне, рядом с ней, открыта форточка.

– Быстро! – командует Куцый. Он уже сложил ладони ковшом и присел, готовясь посадить меня, но не забывая при этом вертеть головой на все четыре стороны. Ставлю ногу, он легко поднимает меня наверх, и через несколько минут я оказываюсь внутри. Правая рука сама тянется к кнопке Апекса. Прежде чем идти к металлической двери, я оглядываюсь по сторонам – Красный являет собой совершенно бесформенный студень, а потому так же легко просачивается в любые узкие, крохотные щели. Свет от окна очень хорошо освещает комнату, оборудованную под подсобное помеще-

ние – тут небольшой обеденный столик с двумя стульями, кухонный гарнитур, холодильник и микроволновка. Красно-го здесь нет. Но чтобы открыть черный вход, мне нужно обогнуть стену и выйти в коридор, и вот от этой мысли мои кишки закрутило.

– Шевелись, давай! – слышно по ту сторону стекла.

Медленно и осторожно шагаю вдоль стены, высовываю голову в коридор – никого. Облегченно вздыхаю и бегу к двери. Открываю щеколду и дверь распаивается сама – её тянет на себя Куцый.

– За смертью тебя посылать... – недовольно бубнит он.

Пока он возится на складе, с шумом передвигая коробки, открывая ящики, вытаскивая шуршащие целлофановые пакеты, я снова возвращаюсь к окну – смотрю на мертвый мир, высматриваю Красных, и думаю о том, как было бы здорово увидеть Землю во всем её великолепии – такой, какой она была до Апекса. И тут в поле зрения появляется она – медленно и неспешно катит перед собой металлическую тележку из супермаркета, и скрип ржавого колесика глухим эхом разносится по вакуумному воздуху, поднимаясь под самую серую твердь над головой. Почему-то тело мгновенно покрылось мурашками, ком подкатил к горлу, и стало зябко, словно я увидела... призрака? Она шла медленно, неспешно шевеля старческими ногами под длинной темно-коричневой юбкой, её руки цепко держали ручку тележки, словно она не толкала её, а опиралась. Да, наверное, это наш «дом с приви-

дениями». Её сгорбленные плечи покрыты шалью, которая в былые времена была красивой ручной работой, но теперь, в дырках и прогалинах, она похожа на половую тряпку, которую нищенка подобрала на помойке. Старуха катит почти пустую тележку через весь двор – так близко я её ни разу не видела. Это всё равно, что увидеть Летучий Голландец своими собственными глазами. И вот она равняется с окном, и я жадно всматриваюсь в лицо – седые волосы убраны назад, в тугий пучок, и высокий лоб открыт, некогда круглое лицо осунулось, и щеки ввалились внутрь, собираясь сеткой тонких складок вокруг рта и глаз, пролегая глубокими впадинами двух носогубных морщин, правильной формы нос, только кончик чуть загнут вниз, придавая лицу надменность и горделивость, изогнутая форма густых бровей и глаза... глаза были такими спокойными, такими невозмутимыми, что только по ним я поняла – никакая она не старуха. Ей от силы лет шестьдесят, а это не тот возраст, чтобы говорить о старухе – да, выглядит она трухляво, но в основном за счет одежды, которая прибавляет ей добрых полтора миллиарда лет сверх того, что есть на самом деле, но глаза... Может, поэтому они не трогают её – Красные? Она единственная, кто может свободно передвигаться по городу, не боясь быть сожранной, она одна, кто неспешно катит тележку по улице, не озираясь по сторонам. Мы тысячу раз наблюдали, как Красные пробегают мимо неё, словно... не видят. Её глаза, словно море в штиль, словно безбрежный океан, которому

уже некуда торопиться – в них столько ума, столько гордыни и... ничем не прикрытого, откровенного бессилия.

Смотрю на полку с медикаментами и никак не могу понять механизм – мы еще здесь, а таблетки уже там. Вернее, и там и здесь. Куцый ловит мой взгляд и тоже смотрит на полку, откуда стремительно исчезают препараты от изжоги (говорю же, они актуальнее йода и бинтов). Понимает, о чем я думаю, а потому недовольно бубнит совсем о другом:

– Надо было больше брать.

Мы встречаемся взглядами, какое-то время смотрим друг на друга, а потом он снова опускает глаза на свою левую руку, которую медленно и методично обматывает бинтом – пока мы разоряли аптеку, он умудрился порезать ладонь об угол одного из стеллажей. Порез глубокий, я даже предложила зашить его, но он отказался и теперь, не торопясь, виток за витком, окутывает больную руку стерильной марлей. Я опускаю глаза, стараюсь не смотреть на полку с лекарствами, но глаза буквально приковывает, и я снова смотрю на исчезающие коробочки, снова возвращаюсь к своим мыслям.

Апекс... хм... Если обратиться к словарю (а мы делали это неоднократно), получаем весьма впечатляющий список всевозможных значений, от людей, до деревьев. Но нас интересует то значение, что идет вторым сверху, согласно которому:

Апекс – наиболее удаленная от основания вершина фигу-

ры или тела.

Иными словами – пик, вершина, острие. А потому Апекс... очень сложно говорить без мата! Так вот, если бы словарь выпускался уже после 17.09.02, данное слово обязательно обзавелось бы еще одним альтернативным значением, которое было бы сформулировано как-то так:

Апекс – даром не нужная человечеству хренотень, которая, стараниями мудозвона по имени Марк Яковлевич Сельтцер, стерла на хрен с лица Земли девяносто восемь процентов населения, оставив остальные два медленно и мучительно умирать в постоянных муках реверса, задираемых Красными, как овцы на пастбище.

Как-то так.

Ну, да ладно, давайте будем беспристрастными (мать его!) и попробуем еще раз. Итак...

Апекс – устройство, позволяющее замыкать временную петлю на конкретной дате, образуя открытую временную бесконечность, которая становится замкнутой только в момент нажатия кнопки прибора. Ход событий внутри временной петли цикличен, но переменен. Каждая ветвь события параллельна предыдущим и будущим вариациям. Знания, события, физическое воздействие на тело, полученные в ходе временной петли, сохраняются (доказано исследованиями) и имеют накопительный характер с физиологической, эмпирической, психоэмоциональной точек исследования. Основные составляющие прибора – полая сфера из

углепластика, компонент Апекса (микрочип), аккумулятор, гироскоп (электронный), пипетка, «бассейн», вода.

Это не мои слова – подобные научные изыскания посетили Медного, и он записал это определение на клочке бумаги. Он говорил – для потомков. А потом, когда мы поняли, что потомков у нас не предвидится, клочок бумаги был выброшен, за ненадобностью, но само определение прочно засело в наших мозгах. Конечно, будь среди нас математики, физики или иные представители точных наук, мы бы получили необъятное, непонятное определение, напичканное сложными, трудновыговариваемыми терминами и кучей никому не нужных, кроме самих математиков, диких математических формул. Но у нас их нет. У нас есть лаборант, бухгалтер, помощник юриста, бармен, расклейщик объявлений, автомойщик и я – без памяти, а значит и без профессии, соответственно. Хотя, может и была она где-то, да затерялась в закоулках мозговых извилин. Теперь уж не найти. Сколько же там еще всего того, что затерялось и никем не ищется? Сколько же там мусора...

– Надо возвращаться, – говорит Куцый.

С трудом отрываюсь от полки с медикаментами и смотрю на него:

– Сейчас?

Он молча кивает.

Я долго не решаюсь – кусаю губы, сжимаю кулаки и бесильно хмурюсь, выискивая нужные слова в моей пустой го-

лове. Все это бессмысленно – он и так знает, что я скажу. Знает, но ждет, ведь невысказанных мыслей бесчисленное множество – всего лишь океан потенциальной вероятности, бездна бесформенной потенции – без людской решительности оно совершенно бесполезно.

– Хочу остаться здесь. Ненадолго... – говорю я.

Он смотрит, останавливает правую руку и та прижимает конец бинта к повязке на его левой руке. Куцый поднимается, делает несколько шагов и встает напротив меня – протягивает левую руку. Даже в нашем мире, чтобы завязать два конца марлевого бинта по-прежнему требуются двое. Послушно принимаю её и под тихий, вкрадчивый голос разрываю свободный конец повязки надвое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.